



роман

Юрий Милославский
ПРИГЛАШЁННАЯ

Юрий Георгиевич Милославский

Приглашённая

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7001752
Приглашённая / Юрий Милославский: АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-085025-9

Аннотация

Юрий Георгиевич Милославский – прозаик, поэт, историк литературы, религиовед. Уроженец Харькова – там и начинал как литератор. С 1973 года в эмиграции.

«Приглашённая» – это роман о природе любви, о самом ее веществе, о смерти и возрождении. Читателю предлагается вслед за рассказчиком – Николаем Усовым – погрузиться в историю юношеской несчастной любви: продолжая воздействовать на него всю жизнь и телесно, и душевно, она по сути подменила его биографию, его личность. Украинный южный город России (место юности), потом Нью-Йорк, другая жизнь... Герой не может смириться с «невстречей» и начинает искать пути преодоления субстанции времени, чтобы она – «встреча-любовь» – все-таки состоялась...

Фрагменты первой части романа были опубликованы в литературном альманахе «Рубеж» (Владивосток).

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Юрий Георгиевич Милославский

Приглашённая

– *Колико суть душевныя части?*

– *Три: словесное, яростное и жалостное.*

Учение Галена и Гиппократа¹

Часть первая

В настоящее время мне хотелось бы рассказать и проч.

Но пожелай терпеливый читатель найти здесь полное жизнеописание той особы, чье имя вынесено в заглавие настоящих записок, он, скорее всего, перевернул бы последнюю страницу их совершенно неудовлетворенным. Подчеркнем, что автор и не имел намерений к созданию всеобъемлющего труда; а не предпринимал он этого, поскольку не признает столь обширную задачу (для себя) выполнимой. Т. о., речь идет именно о личных воспоминаниях, о чем прямо заявлено в подзаголовке. И, предупреждая требования, которые могут быть к нему предъявлены, автор считает нелишним кое в чем пояснить свои резоны, а также отчасти и методы, положенные им в основу своей работы.

Что касается методов, то, начиная буквально с первой же строки, мне пришлось употребить известный устойчивый оборот, имеющий в своем составе слово-понятие «время». При этом собственно материю/катеорию времени нам еще только предстоит в подробностях обсудить в дальнейшем. До той поры я бы желал по некоторым причинам постараться избежать употребления привычных словосочетаний, так или иначе связанных с названным предметом. Это станет для меня упражнением достаточно трудоемким. Признаюсь: мои писательские возможности оказались явно недостаточными, чтобы неупустительно и последовательно соблюсти столь важное ограничение, всю значимость которого пишуший эти строки прекрасно осознает – и надеется оправдать в дальнейшем. Вообще, удержаться и «не говорить» такие-то буквы или же слова – обыкновенно не так-то просто: на этом основана и хорошо известная салонная игра. Успешное выполнение подобного условия в особенности осложняется, когда дело доходит до столь же стертых, сколь и обязательных, но практически неустраняемых выражений, как те, что связаны с временными понятиями. Напротив, чем больше мы стараемся уклониться от них, тем неотвратимей они внедряются в почти любой, хоть сколько-нибудь вразумительный абзац.

Например.

В те времена, о которых **вскоре** пойдет речь, я был абсолютно другим человеком. Или, в случае противоположной («обратной») позиции наблюдателя, – **теперь-то**, а значит, **после** произошедших со мной и вокруг меня событий я совершенно переменялся. На этом я настаиваю со всей доступной уверенностью, потому что если б не так, то я просто не смог бы **сейчас, в эти мгновения**, с необходимым для всякого серьезного дела отстранением работать над моими записками.

Судите сами, какое же надобно иметь творческое дарование, чтобы совершенно исключить эти и подобные им члены предложения из текста, в котором трактуется приведенная или сходная с ней мысль. Какими иными средствами передается такого рода сообщение?

Вдобавок мне предстоит достаточно часто отмечать различные календарные даты, суточные периоды, но уж отречься и от этих разновидностей принудительного временного

деления было бы столь же хлопотно, сколь, допустим, от алфавитного каталога в библиотеках.

И, наконец, как прикажете поступить, когда станет невозможным обойтись без указания на очередность/последовательность тех или иных событий?

Утешает одно: все этого разряда словесные формулы и цифры неосознанно воспринимаются нами словно бы в некоем переносном значении, – хотя, если без предупреждения поинтересоваться у реципиента, с чего и на что именно таковое значение переносится, удовлетворительного ответа мы наверняка не получим. В лучшем случае вам скажут, что это, мол, само собою понятно и нечего обращать внимание на столь очевидные вещи.

Мне остается только согласиться с таким подходом – и **до поры до времени** оставить всяческие придирки, иначе мы **никогда** не сможем стронуться с места.

Последние дни и часы этих моих занятий стали для меня особенно мучительными. Я устаю с самого утра. Не то чтобы я просыпался неотдохнувшим или страдал от бессонницы или от недосыпа – ничуть не бывало. Я также не думаю, что происходящее есть проявление т. наз. усталостного синдрома, на который всё чаще и чаще принято жаловаться. Нет; моя усталость естественна, – но вот наступает она тотчас же по пробуждении и, как мне это видится, не от какой-либо внутренней патологии, а от самого неподвижного факта бодрствования или, точнее, – в осознании и предвкушении обязательности этого состояния.

Сплю я, как уже говорилось, прекрасно; засыпаю легко. Зато меня всё чаще и чаще одолевают «сны с потерями» (не путать с кошмарами). Так, например, пребывая на обширной палубе (или в салоне?) какого-то плавучего транспортного средства, где в беспорядке расставлены незакрепленные [*sic!*] стулья и скамьи для многочисленных пассажиров, – не то старого рейсового парома, на котором давным-давно мы пересекали Ла-Манш, не то прогулочного катера в Сан-Франциско, – я перед самым выходом обнаруживаю, что у меня пропал портфель с важными и деликатными документами, не предназначенными для посторонних глаз. Я бросаюсь на его поиски, но беда в том, что у меня нет полной уверенности, хорошо ли я запомнил свое место, занимаемое на протяжении всего путешествия. При этом я с тоской и мучительным отвращением представляю неизбежность грядущих забот и хлопот: визит в отдел находок, где мне предстоит дожидаться, куда грузчики снесут туда всю так или иначе забытую и оставленную кладь, принадлежащую данному рейсу; затем последует полицейский участок, поскольку я почти не сомневаюсь, что мой портфель украден; и, хотя нет ни малейших надежд на то, что похитители его будут обнаружены, – эта формальность должна быть соблюдена. Размышляя над тем, какое из учреждений разумнее посетить в первую очередь, я лезу во внутренний карман пиджака, желая убедиться, что при мне остается хотя бы мой паспорт, – и обнаруживаю там не одну, а целых три весьма истрепанных паспортных книжицы, – и все три не мои, а разобрать название государства, подданными которого числятся владельцы этих неведомо каким образом подсунутых мне удостоверений, – невозможно. Это означает, что мне предстоит обратиться в консульство моей великой страны (в какой же иной стране со мной произошла эта неприятность, сказать в точности я не могу), т. к. утраченными оказываются и мои личные бумаги, имеющие прямое касательство к реализации права на свободное передвижение. Здесь мною овладевают обыкновенно незнакомые мне наяву чувства: горькая растерянность, уныние, страх одиночества – и я решаюсь проделать то, чего никогда бы не предпринял, как теперь выражаются, «по жизни», а именно: позвонить, пускай кому-нибудь из числа знакомых, пожаловаться им, посетовать на возникшую тупиковую ситуацию – и попросить совета и помощи. Но и телефон мой, в чьей памяти сохраняются номера предполагаемых советчиков и помощников, и он – бесследно исчез. Его заменил какой-то ни с чем не сообразный, поношенный и потертый не хуже тех самых

чужих паспортов телефоноподобный объект, которым я даже не знаю, как воспользоваться. Я всячески тычу в его кнопки, исцарапанный экран его то вспыхивает, то гаснет, на нем то и дело возникают невразумительные аббревиатуры и символы, но добиться от него толку и заставить работать мне не удастся. А вокруг меня полно незнакомых людей, проезжих и прохожих; все они безостановочно бормочут, беседуют между собой, изредка обращая внимание и на меня, а мне всё труднее сдерживаться, сохранять необходимое хладнокровие, показывая, что ничего из ряда вон выходящего со мной не произошло.

Я не раз читал, о каком именно душевном состоянии свидетельствуют подобного рода сны, – читал, но давно; и позабыл. В свою очередь, психоаналитические выкладки, о которых я имею некоторое представление, подчеркивают, что сама такая забывчивость неслучайна; и это мне хорошо известно. Можно было бы без хлопот найти соответствующее ученое руководство, где классифицируются и разбираются сонные видения. Но, – как выражались черниговские девушки на танцах, когда я, еще совсем молодым солдатом расквартированного в тех местах N-ского пехотного полка, пытался с ними поближе познакомиться, – к чему всё это? Разве я желал бы узнать о себе и о моих сновидениях еще нечто, сверх того, что уже знаю? Нет. Не желаю.

Моя прикладная цель в ином. Из прежде прочитанных книг я усвоил, что привнесение в художественную литературу снов как средства обогащения фабулы, характеристики персонажей и развития сюжета – это прием общепринятый, но пользоваться им положено с осторожностью. Следует, однако, принять в соображение, что я работаю не над романом, а над записками; при этом мне представляется действительно необходимым сперва предложить читателю не детальный *cuticulum vitae*, а по возможности лапидарное описание некоторых черт личности повествователя. Это должно послужить к более продуктивному прочтению того, что, предположительно, возникнет в результате моих занятий. Такому описанию здесь и положено начало. И, наконец, существует известная связь между этими моими снами – и совокупностью событий, которые легли в основу моего рассказа, хотя мне было бы затруднительно указать, в чем она, эта связь, в точности заключается.

Но по порядку.

Александра Федоровна Чумакова (в замужестве Кандаурова) родилась, будучи третьим ребенком в семье, 6 мая по н. ст. 1950 года в рабочей слободке Красная Бавария, где Чумаковы владели кирпичным полудомом о двух просторных комнатах с верандой и подполом, по улице, кажется, Володарского, – номера этой постройки я сейчас указать не могу, а для наведения справки оснований покуда не вижу. Девочка росла здоровой, красивой, и это определилось уже к десяти годам, но, что называется, задумчивой; она вела какие-то дневники, переписывалась с подругами; при этом к домоседству и одиноким мечтаниям склонности никакой не имела; охотно занималась спортом; месячные у нее начались лет в двенадцать-тринадцать, а к пятнадцати она стала сочинять стихи, что вскоре привело ее на занятия литературной студии; тогда их существовало великое множество: едва ли не при каждом т. наз. Доме (или Дворце) культуры.

Именно это обстоятельство (т. е. склонность к версификации) и послужило к нашему знакомству. Иначе бы ему навряд ли возможно было состояться: мы обитали уж слишком далеко друг от друга.

Я был почти полутора годами старше. Уже в декабре 1948 года меня крестили с именем Николая (при отчестве Николаевич), и я успел заняться стихотворством несколько ранее, приобретя, еще до появления Александры на наших поэтических сборищах, кое-какую сноровку и даже известность.

Во мне нет веры в магическое составляющее, будто бы скрытое в имени каждого человека. Но очевидно, что есть имена – в каждую эпоху свои – достаточно редкие и уже по одному этому привлекающие внимание к их носителям. Имя почти шестнадцатилетней Александры – приход ее в литературную студию Дома культуры металлургов, где мне довелось впервые с ней встретиться, состоялся ранней весной 1966 года, – было весьма необычным: среди бесчисленных Людок, Ларок, Аллок, Ирок, Наташек, Танек и Нин (я привожу этот перечень по убывающей частотности) девочка Саша, в отличие, разумеется, от мальчика Саши, – представлялась даже забавной². Позже я узнал, что в классе Чумакову постоянно донимали строкой из поэта Некрасова: «Вырастешь, Саша, – узнаешь», отвечая таким образом на все задаваемые ею вопросы, – хором, при обыкновенном всеобщем хохоте. Это нетрудно будет вообразить, если учесть, что даже мое незамысловатое святое имя, на россыпи Олегов, Юр, Игорьков, Вадиков, Валер, Толиков и Женьков, в те годы встречалось очень нечасто: во всей нашей школе, не считая меня, было лишь три – три! – Николая, и все хулиганистые, трудные, как тогда говаривали, мальчики из некультурных, неразвитых (по тогдашнему же словоупотреблению), а вернее сказать – малоимущих, грубоватых семей. «Николай» был всё же не Петя с Васей, что неминуемо влекло за собой оскорбительное «вася-петин-брат», и не Степан с Иваном – «колхозник», «питерский рабочий», «Солдат Иван Бровкин» или, чуть позже, «Иван Бровкин на целине», по известным в те годы фильмам. Как всегда, помогали фамилии – из таких, что легко сокращаются до клички. Называть красавицу Сашку «Чумой» или «чумичкой» – на ум никому бы не пришло, но я, Усов, став году этак в 61-м «Усом» или «Усатым», так и остался им навсегда, тем более что затененность на верхней губе у меня, смугловатого, темно-русого «цыганенка», проявилась примерно в те же годы, что у Сашки – обыкновенное женское.

Прежде чем окажется возможным перейти к детальному изложению позднейших событий, связанных с А.Ф. Чумаковой, мне представляется уместным вкратце остановиться на ее сочинительстве, поскольку возвращаться к этой теме нам уже не придется.

Сам я перестал баловаться стихами не то тридцать пять, не то все сорок лет тому назад, никогда больше не возвращаясь к этому занятию. Но и А.Ф. Кандаурова, к величайшему сожалению, очень рано оставила сочинительство – по причине окончательно овладевшей ею годам к двадцати бешеной, исступленной, самоубийственной гордыни, которая сперва была по меньшей мере равна ее поэтическому дарованию, а потом и переросла его – и подавила, лучше сказать, задавила его собою. На практике это находило свое выражение в том, что «быть хуже Марины Цветаевой» Сашка отказывалась. Почти сразу же, по прошествии одного-двух воскресных занятий на студии, юная А.Ф. Чумакова справедливо заняла в тамошней поэтической иерархии достаточно высокую ступень, чему способствовало не только ее творчество, но и откровенное равнодушие, которое испытывал к ней недавно назначенный руководитель студии – способный, хотя, на мой взгляд, скучноватый поэт гражданского, протестующего направления; его имя и фамилия сегодня практически никому ничего не скажут, но лишь отвлекут нас от главного. Это особое, подчеркну, вполне заслуженное внимание сыграло свою роковую роль: новых стихов у Сашки появлялось всё

² Положение изменилось в середине – конце 1970-х годов. Ср., напр., имя дочери главной героини известной ленты «Москва слезам не верит». – Ю.М.

меньше, ибо ее требования к собственному творчеству всё возрастали, покуда не вышли из пределов осуществимого. Мои постоянные уговоры не помогли – и недаром. Пора, наконец, признаться, что им, этим уговорам, недоставало внутренней искренности, а потому и убедительности. Чувствительная Сашка, несомненно, воспринимала их фальшь, не понимая при этом, в чем же она состоит. Понуждая себя к дальнейшей откровенности, скажу: в некотором смысле я вовсе и не желал, чтобы Сашка продолжила свои поэтические занятия. Я жестоко завидовал ее дару: Сашкины стихи были несравненно лучше моих, впрочем, и не только моих. Уж на это моего интуитивного понимания поэзии вполне хватало. В них содержалось всё необходимое: и пресловутая *бездна смысла* (смыслов), и высокая точность подачи тона, безо всякой голосовой нарочитости, и, главное, то, что впоследствии, позаимствовав словцо из обихода рок-культуры, стали именовать по-английски *drive'ом*; то есть ее стихи «заводили», подсоединяли читателя и слушателя ко своему темпоритму; и, наконец, в них не было ничего – как выражались мы на поэтических чтениях с последующим разбором – от ума. Наверяд ли, продолжив, Сашка оказалась бы, в своем, конечно, роде, «хуже Цветаевой».

Здесь мне сразу следовало бы привести один-два примера, а затем и побольше, но я не могу вспомнить ничего из написанного Сашкой – за исключением одной-единственной строфы, да и та возвратилась ко мне совсем недавно:

Я не выйду в черный сад.
Страшно-страшно холодея,
В нём и дышат, и шуршат,
И теряются в аллее.

И более ни единого слова из ее стихов. Я лишь помню всё *о них*.

Эта достаточно обширная, наверняка исполненная прекрасных Сашкиных сочинений тысячедневная область нашего общения для меня – немая. Она не только бессловесная, но и беззвучная. Я ее не слышу. И это лишь подтверждает сказанное мной прежде.

Как теперь я понимаю, единственным для меня способом внутренне примириться с непереносимым фактом существования Сашкиных стихотворений, число которых всё же понемногу возрастало, было добиться того, чтобы эти стихи стали и моими тоже, вместе с автором их, и/или чтобы она переучилась, стала бы писать – пускай и лучше моего, – но так, как я, по моему, в пределах моих норм. И в этом отношении я уж постарался, как мог; благо Сашка считала меня, шарлатана, несомненным знатоком и специалистом в области изящной словесности. Последствий долго дожидаться не пришлось. Своими постоянными поучениями и критическими этюдами я наверняка способствовал тому, что в Сашке, бывшей по природе своей почти лишенной оборонительных рубежей против козней демона неуверенности, тронулась и пошла эта губительная работа – и вскоре стихов не стало вовсе.

– Сашка, что ты написала? Почитай, – от случая к случаю заводил я этот, своего рода проверочный разговор.

– Ничего.

– Ох, врешь! Не может такого быть.

Но Сашка лишь молча смотрела на меня – со своим особенным, мне предназначенным выражением сердитого упрямства, что в сочетании с так называемым ангельским, неправдоподобно персиковым цветом ее ланит оказывало на меня самое неподходящее воздействие: я начинал усмехаться. Тогда взгляд Сашки становился испепеляющим, но так как я давно уже был спалён ею дотла, то никаких дополнительных изменений со мной не происходило.

Меня не учили отображать на письме красоту, а в особенности девическую прелесть: я – средней руки журналист, бывший сотрудник отдела культуры и искусства районной газеты, что издавалась в г...ове на малороссийском наречии (наречия этого я так никогда толком не усвоил, и материалы мои правил наш ответственный секретарь, некто Борис Моисеевич Фурман).

Впрочем, прежде я довольно много читал. Но вот уже более тридцати лет, почти совершенно оставив художественную прозу (за исключением пушкинских повестей, а также «Войны и мира» Л.Н. Толстого, книги, которая всегда была для меня чем-то вроде Священного Писания пополам с Брокгаузом и Ефроном), – я сперва вовсе не прикасался ни к чему печатному, кроме периодики, а впоследствии сосредоточился на мемуарной, церковно-исторической и даже кое-какой богословской литературе. Особенно я увлекся старинными гимназическими учебниками по всеобщей и русской истории, целая стопка которых мне однажды досталась даром. Всё это вместе взятое в какой-то степени определяет стиль этих заметок: ведь своей писательской манеры, пускай хотя бы даже заимствованной, эпигонской, у меня нет и взяться ей неоткуда.

Начиная со второй половины 70-х годов прошлого века, т. е. будучи в эмиграции, о чем пойдет речь в дальнейшем, я сотрудничаю на постоянной основе с несколькими зарубежными радиовещательными корпорациями, газетами и журналами, где, конечно, мне приходилось – и приходится – описывать не красоту, но именно бесчисленные советско-российские уродства. При этом вот уже в который раз я прилагаю здесь к А.Ф. Чумаковой понятие красоты, что некоторым образом автора обязывает. Вещественных доказательств тому я никаких привести не имею: в моем распоряжении нет ее подходящей случаю фотографии, а если что недавно и нашлось, я наверняка не стал бы прилагать ее снимок к этим заметкам. Зато еще живы сторонние свидетели и очевидцы, не единожды встречавшие А.Ф. Чумакову; позже я, возможно, укажу на одного из них.

– Всё гибнет, – произнес, после длительной паузы, наиболее недавний свидетель, при этом восхищенно глядя в Сашкины вечно испытующие, веселые, разбойные глаза. Их раек был составлен из множества кристаллических гранул-инкрустаций в виде трех неслиянных оттенков: серого, прибрежной «марины» и преимущественного изумрудного. – Всё гибнет, всё гибнет в неравной борьбе.

Гибнет в неравной борьбе. Право, мне лучше не сказать.

Глаза глазами, но мне, пожалуй, следовало бы, пусть обиняками, а всё же упомянуть о ее грудях, плечах, ляжках, ягодицах. Но в том-то и загвоздка, что обо всем этом я не знал тогда практически ничего; Сашка не только не позволяла мне настоящих объятий и касаний, но каким-то непостижимым образом ускользала даже от лицезрения в упор; у нее был свой метод поворота от ворот, и не один, а множество – множество последовательных исчезновений с того места, в котором она только что пребывала, и возвращений на него же, тогда как руки мои еще оставались там, где она вот сейчас! – была; была – и нет ее; это шло каруселью, а вернее, по не вдруг заметной спирали; она занималась гимнастикой – не спорю; но ведь и я не был до такой степени неуклюж; впрочем, и настигнув ее, как это раз-другой с нами случалось, – о победе не было и помину: ибо тотчас же начинался этот ее будто бы горестный, обреченный и безнадежный, но и неотвратимый, истребительный, безостановочный, размыкающий весь мой телесный состав шепот-лепет: Колечка, не надо, не надо, не надо, ну не надо, милый, ну я не хочу так, так плохо, не надо так, не надо – покуда не ослабевали на ней наложенные мною путы и весь я не обмирал от страшной, парализующей, ни возрасту моему, ни обыкновению, ни натуре моей не свойственной, убивающей всякую похоть жалости, чей сокрушительный накат пугал меня до дрожи, до того, что я принимался стучать зубами. После чего меня иногда поглаживали по голове и целовали в щеку, приговаривая:

Колька, ну что ты? ну чего ты? – а я, с трудом приходя в себя, лишь слабо отмахивался. В последнее же горячее свидание мне удалось заманить Сашку в давно отмеченный мною подъезд и во втором этаже усадить ее на глубокий подоконник, размещенный на идеальном с точки зрения моих интересов уровне от многоцветного, но давно не мытого и холодного керамического пола, настланного, как указывала на то особая угловая плитка, в 1916 году – т. е. мы невольно посетили это строение в дни его полувекового юбилея. Заманить ее, усадить, почти уложить, раздвинуть ей колени и – потерять наконец-то слух на эти пустые бабские слова, на этот крепкий и лепкий ее заговор. Не задаваясь больше никакими вопросами, я молча рванулся вперед – и тогда мне немедленно объявили, что меня не любят. Или того хуже: любят – не меня.

Разумеется, и на это не следовало обращать внимания – таково известное правило; но распространить его на Сашку я всё равно бы не смог. Поэтому полная правда состоит в том, что воздействие Сашкиных увещаний вовсе не заключалось в развитии во мне лучших, т. наз. сублимированных чувств, идущих на смену низкой страсти. Чувства мои к Сашке – оставались теми же снизу доверху; они всегда шли сплошь, неустанно вясь и заплетаясь; но возносимая ею *молитва запрещения* – а никак иначе нельзя понимать ее заклинающие глаголы – разила меня, как всякую иную нечистую силу, т. е. лишая меня именно *силы*, но оставляя лицом к лицу с присущей мне изначально нечистой, явленной воочию: на второй-третьей минуте этих молитвословий и ускользаний Сашкин (или, быть может, мой?) ангел-хранитель давал мне видеть себя самого со стороны; он мне являл не душевную мою пакость, чего бы я всё равно не понял, – да и не было у меня никогда никакой души – один перегретый пар. Я видел себя в теле. И поневоле глядя на это копошащееся во тьме, источающее смрад, суетливое, гадкое и робкое существо, – что иное мог я ощутить к нему (т. е. к себе), кроме брезгливости и глумливого омерзения? – только это. Какие же претензии к девушке могли быть у подобного существа? – ни малейших. Пуще того. Эти *обереги*, эти *призоры очес*, некогда преградившие мне пути к Сашкиным стыдным местам, сохранили определенное влияние на всю мою дальнейшую жизнь – в том, что относится до бессознательной человеческой готовности к непрерывному самоуважению и доброжелательному снисхождению к собственным качествам. Именно непрерывность, автоматизм этой сохраняющей жизнь готовности были для меня – утрачены: я так никогда и не позабыл до конца увиденного от тогдашнего Ангела Сашки Чумаковой.

Не то чтобы я когда-либо впадал в болезненный бред, обвиняя себя в бывших и не бывших грехах, терзался теми или иными неискупимыми винами; всё это мне совершенно не свойственно; да и в целом ощущения мои несколько приглушены, я бы даже решился сказать – приторможены; в особенности это мое качество развилось за последние месяцы.

Но при каких-то – я затрудняюсь назвать их – обстоятельствах мне, безо всякой к тому подготовки, иногда вновь предоставлялась малоприятная возможность сколько-то последить за самим собою как за вполне посторонним человеком.

Это не было раздвоением личности или чем-то вроде «горней», с высоты, оценки собственных действий или хотя бы внешнего облика – с точки зрения каких-либо эталонных ценностей или, наконец, с позиции «Я-Идеала», – я подозреваю, что подобное составляющее моего «Я» во мне атрофировалось из-за длительного неупотребления.

Проще сказать, в этом наблюдении нет и до сих пор никогда не было даже признаков совестного акта. Всё не так изошренно: вот он идет, едет, – а случается, что сидит, стоит, молчит, говорит и т. д., – стриженный под машинку, заметно лысеющий с низкого бодливого лба, с крупноватым бесформенным носом, с четырьмя прямо и резко выложенными складками на щеках – по две на каждой; на вид – хорошо за полтинник; одет преимущественно в темно-серое и черное, среднего роста; вот он поравнялся со мной; вот миновал меня, наблюдателя, – и, глядя в его достаточно прочную, но, пожалуй, излишне напряженную спину, я в

состоянии без труда определить, что бывшее на нем короткое пальто «в елочку» – из магазина Duffy's³: какой-нибудь этакий Calvin Klein, а не то Ralph Lauren – не дороже того, но и не дешевле (меня некогда приучили разбираться в подобных предметах, и я отмечаю их признаки автоматически, притом что смысл моего знания-умения уже совершенно утрачен).

Это – я; об этом мне, наблюдателю, уже очень давно и досконально известно. И что же? – мое сознание, как это принято называть, расщепляется? – я гляжу ему/себе вслед с горькой усмешкой? Я осуждаю его/себя? Или, напротив, мне больно и грустно? Ничуть не бывало.

– Кто он? – Я.

– Как звать? – Николай. Усов. Усов, Николай.

Но это и всё.

Единственное, на чем я успеваю поймать себя, прежде чем удастся купировать этот очередной припадок самонаблюдения и мы расстаемся или, напротив, совпадаем, приложив определенное психическое усилие, есть умеренная антипатия. Мне этот человек не по нраву; мы навряд ли нашли бы с ним общий язык; но, как то ведомо любому отрывному календарю, насильно мил не будешь. Кстати, русские отрывные календари я также читаю с большим удовольствием; прежде мною заказывался только эмигрантский, наследников Мартьянова, а в последнее десятилетие к нему прибавились календари, получаемые из России: они становятся всё занимательней, и уж по меньшей мере два раза в месяц я, повернув оторванный листок, нахожу там нечто, прежде мне совершенно неизвестное: у меня уже образовалась целая библиотечка таких листков, до сих пор, впрочем, не разобранный по темам. Словом, всё не так дурно, как это могло бы показаться со стороны.

Со дня моей неудачной затеи овладеть А.Ф. Чумаковой в юбилейном подъезде я могу насчитать не менее полусотни подобных припадков.

Последний раз это произошло со мной вечером 28 сентября 2007 года, в тот момент, когда я по ошибке направился к дальнему, северному выходу из подземки со станции “181st Street”, остров Манхэттен, тогда как мне надо было двигаться к югу, – о чем мне придется еще говорить в подробностях, когда этого потребует ход повествования.

Но за сорок лет до моего появления на 181-й, т. е. осенью 1967 года, у нас произошло решительное объяснение. После бесконечно долгих месяцев ухаживаний, посвящений в стихах, недвусмысленных приставаний и проч. под. я решился потребовать от А.Ф. Чумаковой того, чего никакая, а тем более привлекательная женщина едва ли не до конца дней своих, как известно, исполнить не может: поставить «точку над і», дав окончательный ответ на вопрос «да или нет?». Ничего, кроме новых страданий, мне это не сулило. Но в ту эпоху все мы, – а в особенности мальчишки из небогатых семей, возвращенные в большом городе, с его «плохими компаниями», в которых царил культ особенного уголовно-рыцарственного лицемерия, – мы часто отличались какой-то преувеличенной душевной чистотой в сочетании со свирепым дикарским непониманием противоположного пола – и всё это при достаточно раннем знакомстве с плотской любовью; впрочем, это последнее только усугубляло нашу неопытность, поскольку мы были убеждены, будто знаем в этой области решительно всё.

В простосердечной же Сашке Чумаковой – полагаю, невидимо для нее самой – обитали и злоещее легкомыслие, и «витальное» коварство, которые, при всех исторических обстоятельствах, были еще сравнительно недавно свойственны ныне как будто исчезнувшей русской *роковой женщине*, т. е. всем нашим Грушенькам и Настасьям Филипповнам.

³ Сеть этих примечательнейших нью-йоркских – при одном, кажется, и в Нью-Джерси – магазинов готового платья Duffy's закрылась, будто бы по своей убыточности, в середине сентября 2012 года. – Ю.М.

С этими неистовыми русалками Сашку роднил и оскорбительный исходный опыт познания сокровенного.

На семнадцатом году – что, собственно, по нынешнему положению вещей вовсе не так уж и рано, – Сашку, применив обычную дозу насилия в сочетании со сладким шампанским, лишили девственности; возможно, отмечался Новый 1967 год либо чей-то день рождения. Я не думаю, чтобы всё это было чересчур болезненно, но зато с несомненными унижениями и даже, как будто, при соучастниках – и под оглушительное магнитофонное пение покойного Elvis Presley или the Beatles, без которых тогда не обходилось ни одно гусарство, в какой бы области земного шара оно ни происходило.

Я и не подозревал обо всех этих подробностях. Да и знай я тогда об этом, подобное знание, при моей сословной и возрастной тупости, не пошло бы на пользу; оно не смогло бы повлечь за собой спасительной коррекции поведения – напротив, я пришел бы в бешенство, но и посчитал бы, что раз так, мне будет проще добиться своего, поскольку ощущение жалости, как было сказано выше, являлось для меня чем-то совершенно чуждым и только пугало.

Но я опять забегаю вперед, так как эти и другие подробности биографии А.Ф. Чумковой стали мне доступны лишь впоследствии.

По окончании вечерних занятий нашей литературной студии мы, по обыкновению, отправились на прогулку в городской скверик, разбитый над искусственным прудом, окруженным плакучими ивами. Нетрудно представить себе, как выглядели они в сентябре-октябре, поближе к восьми часам вечера, во влажном тумане, подсвеченном фонарями на высоких тонких столбах, окрашенных тусклой серебрянкой.

Смешно сказать, но за годы своих вольных и невольных перемещений из государства в государство я вполне убедился, что старый центр города...опа после заката солнца более всего напоминает Париж, каков он примерно в районе бульвара Saint-Michel, особенно при осенней погоде. Вызвана ли эта родственность однообразием архитектурного мышления тех лет, т. е. середины-конца XIX – начала XX вв., или какими-то иными причинами – я не знаю.

В аллеях туман сгущался и, озаренный в толще своей рассеянным желтым, окружал скамью, на которую мы присели, подобием некоего грота под полупрозрачными, но непроницаемыми для всего внешнего сводами.

Сашка была одета в алый с синими отворотами плащ, привезенный из Ленинграда, – плащ, необыкновенно ей шедший и мною уже воспетый, что, однако, не помешало мне всего двумя-тремя часами ранее, при встрече, заметить:

– Александра, ты прям как милиционер на Первое мая.

Обшучиваний, а также обращений полным именем Сашка не терпела и без возмездия старалась не оставлять.

Она разместилась – вся строго в профиль – по самому краю избранного нами садового дивана, опершись о конечный брус на изгибе сиденья ладонями в привезенных из Ленинграда же черных перчатках с не защелкнутыми, а потому вывернутыми блестящею внутренностью ко зрителю кнопками у запястий; приговаривала, что устала, что ей еще ехать за тридевять земель, но при этом все-таки улыбалась. Тогда я произнес полноценное признание – и настоял на ответе. И он, казалось, был благосклонен! Не то чтобы мне объяснились во взаимном неравнодушии; нет. Но, после краткой паузы, ко мне повернулись, меня повлекли к себе отнятыми от мокрого дерева скамьи этими самыми ладонями в перчатках, приникли, порывисто вздохнули – и на выдохе сказали: «Ну ладно, Коленька, перестань, всё хорошо, ну я же с тобой, ну чего ты так...»

А со мною происходило следующее. Я оказался не в состоянии оценить степень Сашкиного на меня воздействия. Оно было по преимуществу разрушительным, т. к. под этим воздействием уничтожение прежней спиритуальной требухи внештатного корреспондента газеты «Молодь»⁴ начинающего поэта Николая Усова шло быстрее, чем крохотная его личность поспевала преобразиться по ходу этого прекрасного процесса; иначе сказать, воздействие Сашки было для меня – неместимым. Хуже того. Во мне не только не хватало пространства для Сашки; неподъемным для меня стало и само чувство, отчего-то мне дарованное – и от меня к ней обращенное. Я очутился в положении, знакомом любителем *bodybuilding*'а. Простейшее, базовое упражнение, известное в русской терминологии как «жим лежа», ни в коем случае не следует выполнять без подстраховки: кто-то непременно должен находиться рядом, потому что в одном из подходов твои трицепсы с дельтами могут отказать – и, значит, уже не суждено тебе самому возвратить штангу на рогулины тренажера; гриф ее беспрепятственно вдавится в твою грудь над самым сердцем, а если ты еще и выпустишь его, разжав пальцы, неуправляемый металл почти наверняка, так или иначе, – тебя искалечит.

Счастливый исход объяснения намертво вдавил меня в спинку скамьи, и мне оставалось только дожидаться подмоги; зато уста мои очутились в самой желанной из разрешенных мне для прикосновений и поцелуев областей – у исхода идеально гладкой и высокой Сашкиной шеи, поближе к скату ключичной ямки; и мою голову даже слегка притискивали; мне подставлялись благовонной плотью; меня просили продолжать. Но я надорвался. И, утратив способность к действию, проявлял себя одним восторженным якобы шепотом, повторяя свои признания и умоляя о новых словесных подтверждениях.

По прошествии нескольких мгновений Сашка отстранилась и встала на ноги.

– Знаешь, Колька, я подумала и решила: мне это как-то всё... не надо. И тебе не надо. Как ты вообще можешь со мной быть?! Ты знаешь вообще, кто я? Я часто вообще как блядь!! – Здесь голос ее победно зазвенел. – Вот я такая, Колечка; мне вообще даже коллектив устраивали!!

Она выбрала радикальное средство уврачевания моего столбняка. Снявшись со скамьи, я сбросил Сашку обратно на сиденье, вновь поднял, рванув на себя за шарфик, и занес руку для удара: не так, как положено бить мужчин, – снизу кратко наискосок, всей доступной тяжестью, стараясь при этом не повредить собственные костяшки, – но как учат подлых изменниц: в прямую отмашку от локтя, кулачным торцом, чтобы разнести ей продажный рот, выбить зубы, которые она казалась, хохоча надо мною с другими, или угадать по хрупкому выступу скулы у бесстыдного глаза, изуродовать так, чтобы потом ни один хирург не взялся ремонтировать.

Далее произошло событие, простого объяснения не имеющее. Моя рука, словно продвигаясь в толще соленой морской воды, лишь замедленно коснулась Сашкиной холодной щеки, что при желании могло бы сойти за род пренебрежительной ласки. Однако А.Ф. Чумакова прекрасно сообразила, что должно было сейчас случиться. Перехватив мою кисть, она впиалась в нее резцами и, секунду-другую помедлив, глубоко надкусила кожную мякоть в промежутке большого и указательного пальцев. Боль дошла до меня с опозданием, так что я достаточно долго со свойственным мне от того осеннего вечера и по сей зимний день отстраненным любопытством наблюдал ее лицо с кровавыми пятнами – одно забавное на самом кончике носа, а другое, пострашнее, на подбородке, – и слышал ее отчаянный голос, повто-

⁴ «Молодежь» (малорос. – Ю.М.)

ряющий многократное «никогда»: т. е. «никогда, никогда, никогда никто меня больше не ударит!! – никогда, понял, никогда!»

Из двойной раны прыснуло так, что я опешил; но, хотя в голове начинало как бы подплывать от боли, негромко осведомился: а нет ли у Сашки чистого носового платочка? Батистовый, с кружевной оторочкой, из тех, что наши девушки носили за тугой манжеткой или ремешком часов, он был мне тотчас протянут – со взглядом, который сделал меня вполне довольным.

При этом было хмуро и деловито замечено, что надо бы поскорее зайти в дежурную аптеку, сделать дезинфекцию и нормальную перевязку. Сашка даже решила тронуть меня за рукав.

- Идем быстро, Колька. В каждой шутке есть доля шутки.
- Дезинфекция у нас своя есть, – отозвался я. – Сейчас зеленкой помажем.
- У тебя что, зеленка с собой?!
- Ага, аптечка первой помощи.

Поражена была правая рука. Но я, отчасти левша, без особенных трудностей добрался до внутреннего кармана куртки, где у меня находилось автоматическое перо, запрограммированное зелеными чернилами: почему-то мне нравилось писать стихи цветом, которым, как выражался в ту пору один мой приятель, «одни только доносы пишут». Теперь уже Сашка в оцепенении смотрела, как я, открыв перо и свинтив защитный колпачок со стороны пипетки, выдавил содержимое баллончика на ее жестокий укус, получивший вид обращенных друг ко другу букв «С» не вполне правильной формы, каждая – из пяти прерывистых соприкасающихся черт, а затем осторожно втер Сашкиным платочком чернила в рану, чтобы ни одно ее углубление не осталось без окраски.

– До свадьбы заживет, как ты думаешь, а, Сашка?

– Ну что ты такой ненормальный?! Господи, до чего тяжело с тобой! Что тебе надо, Колька?! Что ты вообще творишь? Ты же сам меня довел! Как мы теперь будем видеться?!

Она, конечно, лукавила, вернее – преувеличивала свое негодование. Ни Сашка, ни я ни в чем не раскаивались и не сожалели о случившемся. Мы поступили, как мыслилось нам (и каждому из нас по отдельности), единственно верным – и всё получилось отлично. Лучше всего пришлось мне: если бы мой порыв не придержала невидимая длань – Сашка была бы изувечена. А если бы она не укусила меня – на руке моей не осталось бы этой татуировки, этих чуть выпуклых изумрудных шрамов, этих корявых литер, на которые я посматриваю с мстительным удовлетворением, тыча в клавиатуру при составлении этих заметок. Всё при мне. *Omnia mea mecum porto.*

Еще с год тому назад поблизости от «эс оборотного» на коже проступило рыжее старческое пятнышко. Я тронул его ногтем, но, убедаясь, что оно не снимается, поспешил подушечку большого пальца левой руки – и протер им этот, как мне представилось, неопрятный след поедания полдника, куда входил огромный сектор пиццы *primavera* со свежими томатами. И только минут через пять сообразив, что именно оставило на мне свой след, я взглянул на него еще раз, как обыкновенно смотрят на прикладные датчики – будь то шагомер, приборный щиток в автомобиле или аппарат для измерения кровяного давления или уровня сахара в моче, – подмигнул ему – и веско, предварив собственно слова несколькими «угум-угум», произнес на всю мою пустую квартиру:

– Ну что ж? (Молчание.) Дело хорошее⁵.

⁵ Ср. с подобного же содержания историей, где присутствует и старческая «гречка» на руках, и библейское числительное «сорок», долженствующее означать временной промежуток, разделивший влюбленных, в поздней элегической повести В.П. Катаева – чья известность в описываемые Н.Н. Усовым годы начала восстанавливаться, – названной им «Святой колодец» и опубликованной в самом почитаемом тогдашнем журнале «Новый мир». С чрезмерной в данном случае, мно-

Рука подживала долго; платочек я сохранил и на рожон больше не лез.

Не чаще одного-двух раз в неделю мне доставались от Сашки непродолжительные «променажи» с минимумом поцелуев.

Могло показаться, будто глупое удалство мое было Сашкой забыто, но дело обстояло иначе. То, что произошло с нами в «аллее решительного объяснения», особенным образом тянуло на предельную степень близости – степень, оставляющую далеко позади все роды и виды совокуплений. Расстояние меж нашими жизнями не просто сократилось, но практически исчезло – и оттого Сашка, инстинктивно отпрянув, отшагнув от меня, занялась последовательным и аккуратным вытеснением всего того, что относилось к моей жизни, из жизни своей, закрытием не то что калиток, створок и форточек, но и ликвидацией самомалейших щелок, сквозь которые я мог до нее добраться.

Я чуял всё это, но с легкостью научился нехитрой и подлой науке – делать хорошую мину при плохой игре, что, кстати, мне весьма пригодило в дальнейшем.

Сценическая, если допустимо так выразиться, площадка, где велась эта моя плохая игра, была довольно тесной и многолюдной: бодрые молодые газетчики, молодые же поэты, едва печатаемые и вовсе не печатаемые, так и смяк причастные литературному быту дамы и барышни различных возрастов и различной степени ветрености, а также свободомыслящие аспиранты и студенты всех курсов механико-математического и физико-технического факультетов – словом, обычная для тех лет, краев и обстоятельств публика.

Однажды, в точном соответствии с романсом «Черная шаль», *презренный еврей* поведал мне на пирушке за бутылкой распространенного в 1966–1967 гг. скверного венгерского рома Superiог в сопровождении какого-то таврического крепленого вина о якобы ставших ему известными Сашкиных похождениях; но я не дал ему злата и не проклял его; напротив, я ухитрился не произнести ни единого слова и даже не оборотился на его шепоток, становившийся всё громче и громче. Я также не бросился разыскивать Сашку, – да ведь она и не пряталась от меня; я мог увидеть ее хоть завтра, подождав окончания вечерних занятий в местном университете, на филологическое отделение которого Сашка поступила, прирабатывая днем в каком-то архиве (я же в институте культуры записался на факультет, готовящий режиссеров народных театров, но продолжал с регулярностью публиковаться в упомянутой выше газетке, что начало приносить кое-какой доход – рублей 70–80 в месяц). Я также не попытался *созвать веселых друзей* детства, связи с которыми продолжал поддерживать, изредка навещая *старое пепелище* на углу ул. Юрьевской и Московского проспекта, – и подстеречь с ними моего т. наз. счастливого соперника в его же собственной подворотне. Это наверняка оказалось бы делом нетрудным, но бесполезным: ведь измочаленного ударами наших ног счастливец не позже, чем через неделю-полторы сменил бы кто-то иной – и ему досталось бы от Сашки ничуть не меньше, если не больше счастья. Нельзя, конечно, сказать, будто бы я это действительно понимал. «Черной шали» не произошло единственно потому, что неудача с Сашкой меня ошеломила, даже, пожалуй, ужаснула – до потери всякой готов-

гозначительной четкостью я словно бы воочию увидел его тусклую, с грязноватым серо-голубым оттенком, бумажную обложку, внизу которой стояло: 1966. А увидев, не поленился произвести своеобразный анализ. – Как нетрудно будет заметить, многозначительное «сорок лет», если мы представим его для наглядности переданным графически/объемно, расслоилось (расщепилось) у нас на некие автономные «сорокалетия»: выдуманные (сочиненные) Катаевым – и, условно говоря, всамделишные, из воспоминаний Н.Н. Усова. В *повести Катаева* речь идет о сроке, а) прошедшем от условного «засечного» момента встречи автора с героиней и до б) появления в печати «Святого колодца». А в *записках Усова* появление повести Катаева, как мы видим, смыкается с) с тем, что произошло с автором записок и его возлюбленной в «аллее решительного объяснения», откуда, в свою очередь, d) отлагается «сорокалетие» до начала событий, приведших Н.Н. Усова к работе над предлагаемыми записками. Во всяком случае, Н.Н. Усов вполне мог быть знаком с катаевской повестью: она получила довольно широкое распространение. – Ю.М.